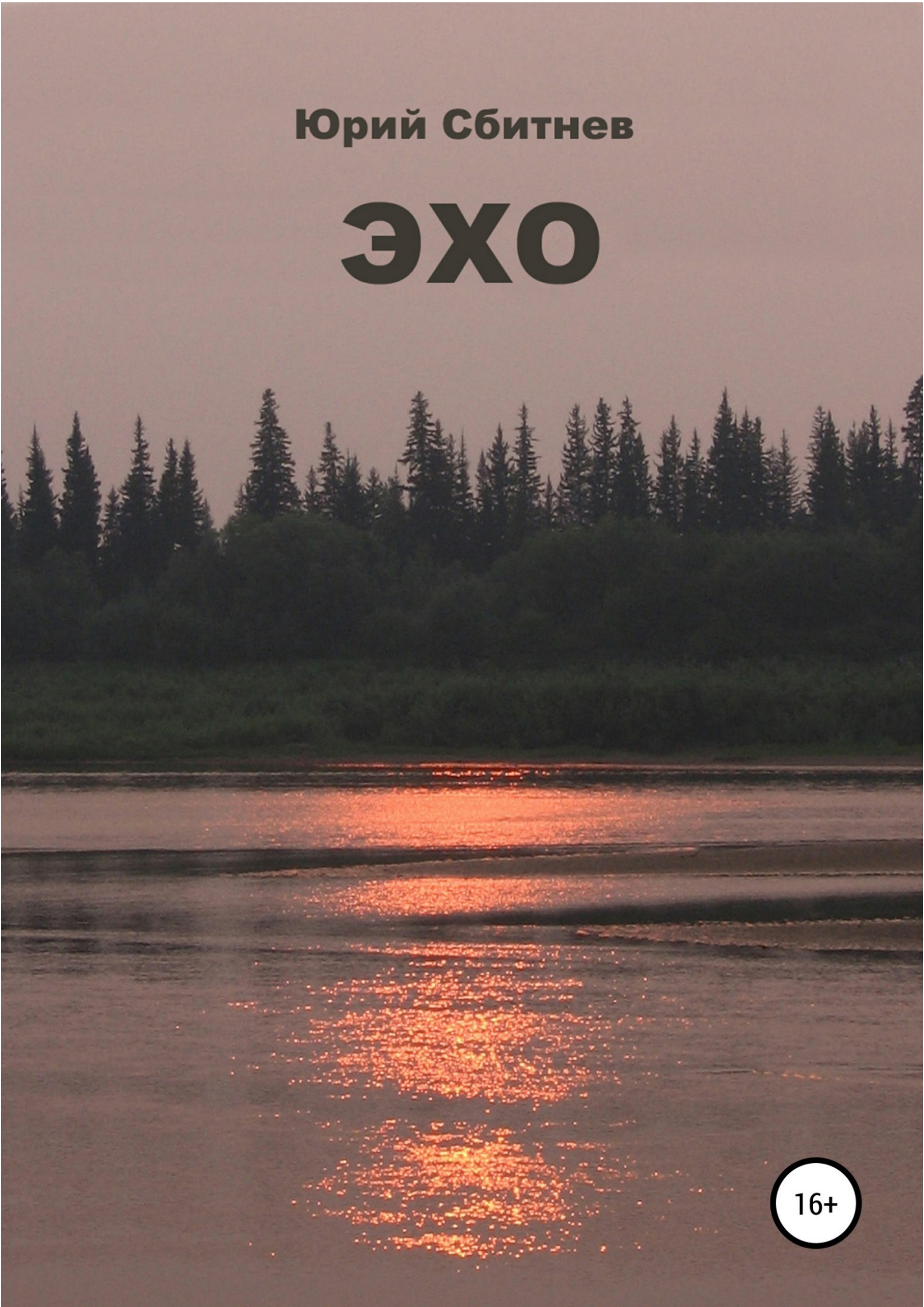
Юрий Сбитнев

ЭХО



16+

Юрий Сбитнев

Эхо

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Сбитнев Ю.

Эхо / Ю. Сбитнев — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Что знали эвенки о Тунгусском чуде? О чём их не расспросили многочисленные исследователи? И что они рассказали автору, который с уважением отнёсся к их откровениям? В повести «Эхо» он приоткрыл завесу над тайной, которую они знали... Во второй повести книги автор также обращается к неразгаданной тайне столетия. Но главная разгадка Тунгусского феномена, объяснённая эвенками, «интеллигентами тайги», этим древним народом, пришедшим из неолита, — в новой книге «Тунгусское диво», которая ещё будет опубликована.

© Сбитнев Ю., 2018
© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

Эхо 5
Глава I 5
Глава II 13
Глава III 22
Глава IV 30
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Эхо

Глава I

Что происходит в мире, когда мороз приближается к условной отметке минус шестьдесят?

Условной потому, что в падении ртутного столбика есть предел, за которым начинаются вовсе другие измерения, нежели те, к которым мы привыкли. Я знаю это наверное, я испытал это…

Хавоки Угу предупредил: дальше идти нельзя.

Ганалчи ничего не сказал об этом. Он остановил оленей, неторопливо обломал с их ноздрей лед; полуобнял каждого, низко наклоняясь своим лицом к их закуржавленным лицам, и повёл упряжку в тайгу.

Я сделал то же, чуть даже коснувшись губами ресниц своего учага, и, ощущая всем естеством нечто необычное, творящееся в мире, пошёл следом.

Небо над моею головою вдруг разверзлось, образовав вполне доступную сферу, куда можно было легко подняться, вовсе не напрягая сил, с оленями и нартами.

Я увидел Землю Угу.

Свернув с белого речного пути, определённого чёрными вешками елового лапника, мы покидали обетованную Землю Дулю.

Удивительным, никогда не испытанным чувством осознаю, что происходит нечто необыкновенное, переступаю черту дозволенного, но все-таки иду вперёд и выше.

Стылая, остекленевшая и покрытая синей ожеледью тайга теплеет, становится зелёной, убираясь листвою, прохладно и душно пахнут черёмухи, жёлтыми мягкими комочкам светятся под солнцем прозрачные смолы, стрекочут, поют, заливаются птицы…

Как счастливо ступить на Землю Угу!

А может, это Земля Хэргу?!

– Ты, парень, однако, спишь! – кричит мне в ухо Ганалчи. Трясет за плечо.

Я испытываю к нему не то чтобы неприязнь – открытую злобу.

– Уйди, старик! Совсем уйди! – кричу что есть мочи, но губы не слушаются. Слово не изрекается.

Затмевая Землю Угу, восстаёт лицо Ганалчи, чуть колеблясь в белом мороке.

Окуржавленные бахромой инея щёки и скулы лишены жизни, но в узких щелочках глаз – забытое мною тепло, надежда и возвращенная память.

…Мы сошли с белого речного пути, обломав лёд с ноздрей оленей, обняли их, желая подбодрить, и поднялись в небо образовавшейся вдруг покатью. Я увидел, я прикоснулся к Земле Угу…

А тут высоко горит костер. На тридцати слегах лежит берестяное покрытие чума, и в сонар – отверстие в самом центре – утекает дым.

На тридцати невидимых человеческому глазу слегах лежит и небо нашей Земли Дулю, покрытое прозрачным добрым камнем. А сонар (хонар) – жерло кратера вулкана, внутри которого жизнь, добрый огонь и мы.

– Не спи, парень! Не спи! Не надо! Ай-я-пчу? Хорошо? Не спи, – просит Галанчи.

– Где мы, Галанчи? На Земле Угу?..

– Не надо Угу. – Как маску, осторожно снимает с лица ледяную накипь старик.

Я определяю себя со стороны сидящим у костра в просторном, пожалуй, даже очень просторном чуме. Сколько побродил по тайге, а в таком жилище впервые.

Жилище вижу тоже со стороны. И мне интересно видеть и наблюдать. Однако то, стороннее зрение как бы ослабевает, мутится, и я, во всём подражая Ганалчи, тоже снимаю с лица ледяную маску. Кожу жжёт и пощипывает. Мозг мой отмечает: «Обожгло солнцем на Земле Угу…» Но я, как и Ганалчи, смазываю щёки, лоб, скулы, подбородок, горло холодным, тающим под пальцами жиром.

Жир пахнет тёплым звериным телом, забродившей на солнце мочою, но мне приятен и этот запах, и мягкие катышки тепла под пальцами, и то, как при движении скрипит и постукивает одежда.

Выше поднимается огонь в очаге, оттаивает, просыпается кровь. Словно бы загудел позвоночник, и я ощущаю себя деревом, в разветвлении которого, в самой сердцевине, медленно перетекают земные соки… Это последнее, что приходит на миг из той запредельной дали, где оказался я, поднимаясь к Земле Угу и уже осязая её.

Чем выше становится огонь, чем теплее и мягче воздух, тем решительнее и точнее мои движения и тем обычнее и незаметнее животворящий ток крови.

Я возобновляюсь на Земле Дулю, с которой связан Рождением и Временем. Я возникаю из иного бытия, и лёгкий щекоток бежит по телу, доставляя ни с чем не сравнимое наслаждение…

– Не спи, парень! – снова просит Ганалчи и выходит из чума.

Я слышу, как стеклянно звенит входной полог и как сотрясается, готовый рассыпаться, остов чума с берестяным покрытием – олдоконом.

На воле не то чтобы тишина, но долгая, пронзительная до бритвенной истончённости звень и сухой, шелестящий шорох от движений Ганалчи.

Потом что-то гремит там, стучит и брякает, словно прокалённая на огне бумага. Это с треском осыпается обретший хрупкость воздух; опять звенит полог, и к огню со стуком падают наши спальники и медвежьи одеяла. И снова рассыпается воздух за олдоконом, на воле.

Там невозможно быть, жить невозможно… Все онемело, застыло, превратившись в твердь. А как же Ганалчи? Что с ним?

Хавоки Угу предупредил: дальше идти нельзя.

Мы вышли из стойбища Хамакар с первой звездою. Небо было далеким и чистым, чуть только перечёркнутое слоистой полосой дыма, поднимавшегося из человеческих жилищ.

У нас было четыре упряжки, восемь запасных оленей и небольшая поклажа, рассчитанная на неделю пути, на семь оленьих переходов.

Первая наша кочёвка – до зимовья Урамы, маленькой избушки-зимовейки под скалистым мегом. Мег – местное слово, определяющее собой чаще всего горную возвышенность, которую долгой петлей захлестывает русло реки. Есть в этом слове какая-то удивительная многозначность. В нём и миг творения, и мощь вывороченных сверхсилою геологических магм, и нечто от магии. И места эти, как правило, наделены удивительной красотой и тайной.

На Буньском меге, как утверждает местная легенда, в далёкие прародительские времена произошла странная битва. А тут, в Урамы, на скальных стенках в иные, не уловимые ни памятью, ни мыслью эпохи, рука художника начертала картины той жизни: сонм зверей, птиц, неведомых нам существ, доверчивые, как нынешние таёжные собаки, лохматые мамонты и крохотные, но очень весёлые и живые человечки – нам подобные существа на двух ногах и с пятипалыми руками. Пальцы особо были выделены художником. И тогда, вероятно, высоко ценилась рука, умеющая сохранить и продлить жизнь двуногих. Те человечки на скалах высоко поднимали пятипалые руки, гордясь ими и превознося их. На их руки указал мне Ганалчи. Он не просто видел рисунки, но читал как мудрый завет предков: «Гордись и чти человеческие руки, принесшие в мир высокое благо – труд». Я вспоминал Урамы, рисунки на скалах и то, как задрав головы глядели мы на них. Ганалчи сказал: «Тут написано: сохрани всё, что дали

тебе предки…» «Написано», – изрёк старик, а я вроде бы и мимо ушей пропустил это слово. Теперь вспомнил.

– Не спи, парень! Чай пить будем, однако!

Ганалчи подбросил в очаг мелко наколотого сушняку, громадный ворох лежит у входа. Когда успел приготовить? А я что же? Почему лежу у огня и пальцем не двину? Пытаюсь подняться – не могу. Слабость во всем теле, в голове слабость. Улыбаюсь беспомощно. «Почему так? Что было со мною?»

– Ганалчи, как я сюда попал? – спрашиваю.

Он улыбается:

– Пришёл.

– Я заснул, что ли? На шагу заснул? А ты уложил в нарты и привёз сюда?

– Нет… Спать нельзя. Нарта холодно – мороз. Сам пришёл…

– Убей, не помню!

– Зачем «убей»? – качает головою. – Ум замёрз. Мозга застыл. Сюда идти нельзя… А куда пойдешь?! Мороз! На реке умрёшь, в тайга умрёшь… Сюда пришли, тут спасение! Думать надо…

– Я думаю, Ганалчи. Всё помню. Урамы помню. Рисунки на скалах. Что ты говорил, помню. Как бежали рекою… Потом свернули… Всё помню! – Я говорю это торопливо, как бы даже с акцентом, непроизвольно подражая местному говору. Хочу сказать про Землю Угу, про Хавоки. Я и это помню, но не говорю.

Сбросил меховую шапку, тру ладонью темя, и впрямь ледяное, застывшее. Так бывает после долгой и тяжёлой ходьбы.

Ганалчи слушает, склонив по-детски набок голову. Он простоволос, короткая сивая щетинка в седине, над ней серебряным чуть различимым нимбом струится тепло.

Чум всё ещё не прогрелся, кончики ушей пощипывает холод. Но разве это холод по сравнению с тем, что происходит сейчас там, за кругом нашего жилища!

– Сильный мороз? – спрашиваю.

– Холодно… Нельзя жить…

– А как же олени?

– Они знают… Урамы бежали – хорошо было. Потом ай-я-я-й! Прятаться надо. Шиы-бка большой мороз идёт. Сюда побежал. Сюда идти не надо. А куда денешься! Без чума подохнешь, однако…

– А откуда ты узнал, что такой мороз будет? Почему сюда повернул?

На тагане в котелке забурлила вода, Ганалчи кидает в неё кусочки медвежьего жира, окаменевшую на морозе костную муку, мелкую стружку сушёного мяса. Готовит хирбу. Молчит. Думает.

– Хавоки Угу предупредил: «Дальше идти нельзя», – говорю я.

Он поднимает лицо, глядит пристально, покачивая головою.

– Разве ты не знаешь – так говорить нельзя? – улыбается. – Амикан сердиться будет…

Он ещё и фразы не закончил, как что-то произошло в мире. Резкий удар грома потряс землю, дрогнуло пламя, зазвенел остов чума, выкатились из очага угольки…

– Что это? – спрашиваю, чувствуя, что бледнею.

– Камень умер, – отвечает. – Шибко мороз большой. Шибко… Голец разорвало, убило…

– А как же деревья? Птицы как, звери?..

Он молчит, помешивая уютно булькающую хирбу, принюхивается.

– Они знают…

Олени знают, деревья знают, птицы, звери, зверюшки разные знают, он, Ганалчи, знает! Почему же не знаю я? Почему в грёзах рвусь к иной земле, к иному миру?

Слышу оленей, они где-то рядом. Не лежат, не пасутся – движутся, плотно прижимаясь друг к другу, образуя живой тесный круговорот. Оленьи тела – единый сгусток вращающейся живой материи, которая живёт сейчас по единому для всех закону: каждое животное как бы медленно втягивается в воронку плотно движущихся тел, достигает центра, и так же медленно выталкивается на внешний край, и снова втягивается в центр. И так бесконечно передвигаясь, согревая друг друга, живут там, где умирает камень.

Ганалчи палочкой мешает хирбу, и я заворожённо гляжу на образовавшуюся воронку.

Ложимся, плотно и вкусно поев, напившись до третьего пота душистого чая, чуть горьковатого, но благоуханно пахнущего таёжной смородиной. Ганалчи успел наломать прокалённые морозом стебли. И об этом подумал там, на воле. Не лишила его привычного дикая стужа.

Ни спальник, ни медвежье одеяло больше не отбирают тепло. Они напитались им, ожили и теперь сами его творят.

– Знаешь, Ганалчи, – говорю я, сердце моё полно преданной ласки. – Я ничего не помню. Как сошли с реки, так и не помню ничего. – И снова, помимо воли: – Я был на Земле Угу…

Он качает головою:

– Не был.

Я настаиваю:

– Но почему же! Хочешь, расскажу тебе?

– Не надо, парень. Теперь спи. Спать надо… Сон глядеть будешь. Землю Угу…

– Но я видел. Не во сне, наяву! Мы поднимались с тобой в небо…

– Не видел! – уверенно говорит старик. Я понимаю, что нынче не надо об этом. И все-таки спрашиваю:

– Почему ты не хочешь, чтобы я рассказал о Земле Угу?..

– Знаю, – говорит он. – Надо спать.

Тяжелеют веки, становятся липкими, и я снова покидаю родную Землю Дулю, и мама прикасается ладонью к моему лицу и, поправляя одеяло, говорит мне:

– Никто не знает о Земле Угу и о её Великом Хавоки, никто ничего не знает…

А что знаю я о своей Земле и о Земле Ганалчи? Что знаю о нашей Земле Дулю?..

Сон глубокий, без сновидений. Однако просыпаюсь с тревожным чувством, с ощущением полного одиночества.

В чуме один. Всё ещё горит костёр, и есть дрова у выхода, и набегает из чайника на угли крохотной струйкой кипяток. Но нет вокруг живого. Ганалчи нет. Чум я вижу словно бы впервые. И всё ещё не могу понять, как оказался тут. В голове не укладывается не только тот беспамятный отрезок времени, но и осознание себя тут, рядом с Ганалчи, с горящим очагом, с тем, что было уже на памяти, когда мы обживали этот маленький островок человеческого жилья.

И вдруг понимаю, что этот чум, этот тёплый и добрый вулкан среди полярной стужи вовсе не человеческое жильё, а нечто совсем иное, чего никогда не приходилось видеть.

Оглядываюсь, чуть приподнявшись на постели. На остове чума надо мной вразброс развешаны какие-то странные предметы – кусочки меха, дерева, материи. На трёх мощных слегах, с которых и начинается строительство чума, – их называют «халган илан» – три ноги (тренога), – висят широкие сыромятные, довольно длинные ремни. Кусочки дерева не просто сколы или спилы – поделки, изображающие собой то ли птиц, то ли самолётики. Приглядываюсь к ним и нахожу, что они больше похожи на наши детские, с которыми носились по улицам мальчишки, изображая одновременно и пилотов и самолёты.

Меня охватывает странное: я ощущаю вокруг присутствие не людей, но их до предела оголённые чувства, взволнованный разум…

Так бывало со мной в зале московского Большого театра, когда в гуле полуголосов вдруг ощутишь некую колеблющуюся сферу и уловишь долгий-долгий нездешний звук перед тем,

как оркестр займёт свои места и музыканты в «полушёпот» тронут инструменты. В этот предшествующий миг я ощущаю чувства и восторг мысли тех, кто приходил сюда, чтобы прикоснуться душою к святыне.

Святые храмы Италии наполнены тем же мягким гулом. И храмы Индии, и наши древние православные хранят в себе всё то же. И в сердце моё входит высокое, до холодка в груди, волнение, я замираю на миг перед сонмом ушедших. То же чувство охватывает меня и сейчас в этом замкнутом пространстве не совсем привычного для современного человека строения. Я понимаю, что нахожусь в нымгандяке – культовом чуме эвенков.

Ганалчи сказал: «Сюда нельзя идти…»

Тихо кругом. И только присутствие тайны, людских оголённых чувств, необычайных ощущений тревожит меня, заставляя что-то немедленно предпринять.

Непроницаемой тайной окружён нымгандяк.

Я знаю немного о том культе, который исповедует Ганалчи, и главная идея в нём – не уничтожать того, что добыто предками, но приумножать своею жизнью.

Когда-то испанские завоеватели жестоко искореняли культ дикарей, переплавляя изображения их богов и ритуальные предметы в слитки золота, сжигая храмы, письмена, собранные в книги. И только спустя десятилетия, даже века, оказалось, что конкистадоры уничтожили и поработили не дикарей (как тогда считалось), но Великую Культуру, так не похожую на всё, что было известно цивилизованному миру.

На заре нашей национальной литературы гений Пушкина из всей разноплеменной России выбирает для пророческого стиха представителей трёх национальностей: и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык.

Случаен ли этот выбор? В стихах Пушкина ничего случайного нет.

Что же стояло в те времена за словом «дикий»? Даль оставил нам живой разговорный русский язык:

«Дикий: в природном виде состоящий…»

Из двенадцати синонимов только два несут отрицательный смысл: это «свирепый» и «необразованный»; остальные определяют превосходное значение.

И у Пушкина дикий – как природный, необычайный, неизведанный.

Неизведанная культура эвенков по-странному волнует меня, заставляя подолгу жить в их кочевьях, бродить с ними по Большому Лунному кругу, следуя за стадами оленей, приглядываться к их укладу, привычкам, тайнам охотничьего ремесла и к тому многому, что кажется порою странным, даже наивным, а иной раз смешным.

В самом начале моих странствий расспрашивал местных сибиряков – русских об эвенках. С улыбкой рассказывали о них, но и с уважением.

Охотники, дескать, непревзойдённые, а так – дети.

И еще – «интеллигентами тайги» называли эвенков первые исследователи – открыватели Сибири. Многие из них в таёжном безлюдии попадали в безвыходные ситуации, на которые так щедр Север. И тогда на помощь приходили эвенки. Так было с экспедицией Шишкова, Скропышева, Еланского, Подгурского… Так было со мной…

Однажды по какому-то непростительному легкомыслию я отправился на оленях в дальнее стойбище. У нас – легкомысленной компании, было три упряжки, на каждой по человеку. Ехали легко и весело. Позади остались три кочёвки, когда вдруг грянул сильный мороз, застав нас на самом глухом и безлюдном участке пути.

Ни зимовий, ни чумов вокруг не было на добрый олений переход – полный день. Но это нас не пугало, поскольку олени бежали хорошо, мы тепло одеты, и в нартах, укутавшись в меховые одеяла, лежать было удобно. И вдруг среди безлесой голой калтусины, их называют тундра, где и кустика не было, мои олени «сломались». Встали, низко опустив головы, роняя с губ розоватую, подкрашенную кровью пену, которая, лубенея, со стуком падала в наст. Я

попробовал вести животных за собой в узде, но свободно держащий и оленей и нарты крепкий снежный наст под моими унтами ломался, и я пропаливался при каждом шаге. Олени не хотели идти, сначала упирались, потом легли. В провалах следов выступила вода. Под настом били тёплые ключи, и я в любую минуту мог провалиться в них. Мороз лютовал, спутники, не оглядываясь, гнали вперёд по тундре, и отчаянный мой крик не достигал их. Поднимался ветер. Я был один среди ледяной пустыни, товарищи далеко, рядом умирают олени. Меня охватило отчаяние, встал на колени перед животными, гладил их по длинным мордам, ласкал, умолял не умирать и плакал. Слёзы замерзали на ветру. Из оленьих глаз тоже катились слёзы, они тоже плакали, надсадно и сипло дыша. Меня охватила безысходность, я осознал себя стоящим на хрупкой закраинке бытия, за которой были мрак и холод. Медленно истекали минуты, я лёг на нарту, повернувшись к ветру спиною, слушал, как безнадёжно и больно хрипят олени, хватая раскрытыми пастями ледяной воздух, и как он сипло, даже с каким-то звоном, входит в запалённые, простуженные насквозь лёгкие.

Спутники обнаружили моё отсутствие, когда достигли спасительной тайги. Затаборились, развели костёр, натянули палатку, ждали, но меня не было. И тогда проводник, местный русский охотник Олеша, сгрузив с нарты всю поклажу, налегке снова выехал на калтусину.

Метель лютовала. Затихли олени, кончились слезы. Я попробовал двигаться по насту, чтобы не замёрзнуть, когда Олеша подкатил ко мне. Он был деловит и энергичен. Быстренько оглядел упавших оленей и, найдя, что они вот-вот умрут, зарезал.

– Завтра отвезём на табор и освежуем – будет мясо.

Определив под нами живую воду, заспешил, засуетился. Бросил в нарту единственную поклажу – медвежье одеяло, и мы, умостившись друг к другу спинами, покатили вперёд к тайге.

Но бег оленей был недолог. Животные, обременённые непосильной тяжестью, как и те, погибшие, остановились.

Олеша орал на них, бил, пробовал тащить за узду, а я пытался тянуть уже не только оленей, но и нарту, но снова под ногами рушился наст, на глазах чернел, напитываясь водою. Метель тундрой ходила вовсю. И нигде ни кустика, ни деревца, чтобы разжечь костёр, ни ямки, ни бугорка, чтобы укрыться. Я вспомнил, что калтус этот, эту безжизненную тундру, эвенки называли: буни – мертвый. Ни единой человеческой тропы, ни единого путика не проходило тут.

Мы выпрягли оленей, поставили на ребро нарту, уложили за ней животных, сами легли рядом, решив переждать ледяной хиус. У нас не было ни продуктов, ни спальников, ни дров, чтобы разжечь костёр, ни возможности двигаться вперёд. Олешу ещё держал на себе наст, но подо мной ломался, и каждую минуту я мог оказаться в воде. Однако и лежание наше становилось небезопасным. Твердь под нами теряла прочность, и мы вместе с нартами и оленями медленно продавливали ее. А вдруг под нами сочащееся теплыми родниками озерцо?! Где же выход?

Решили идти вперёд. Взяли с собой оленью упряжь, хотя и она была вовсе ни к чему. Поначалу передвигались так. Я лежал на нарте, Олеша, впрягшись, тянул её по насту. Я помогал, толкаясь ногами, и это получалось: мы медленно, но все-таки двигались. Однако наст стал ломаться, нарта оседать. И мы бросили нарту. Я шёл по насту скользящим шагом, движение было медленным и крайне трудным, поскольку мешала тяжёлая волчья парка. Сбросить её не решался: знал, что, оставшись в короткой лётной меховой куртке, если придётся остановиться, сразу же замёрзну.

Так мы и шли. Олеша далеко обогнал меня, а тайги всё ещё не было. Короткий северный день мерк, приближались сумерки, а за ними долгая, без конца ночь. Впрочем, она имела конец, о котором жутко было думать. Я уставал, задыхался, остужая бронхи, и понимал, что если и доберусь таким образом до табора, приду к нему смертельно больным – с оледеневшими лёгкими.

И всё-таки на что-то надеялся! Верил. Медленно, упорно шёл, едва различая след Олеши. Белая свистящая муть слепила глаза, наст проваливался, унты обледенели и стали неимоверно тяжёлыми, каждый шаг мой был уже не к спасению…

Но вдруг впереди что-то зачернело. Подумалось, что там, на краю тундры, в таёжном подлеске поджидает меня Олеша. Я покричал ему, и он ответил. До него было не более сотни метров, и я преодолел их… Но то, что мнилось мне спасительным подлеском, оказалось началом всех страданий. Олеша сидел на брошенной нарте, рядом лежали засыпанные снегом мёртвые тела оленей. Совершив по калтусине громадный круг, мы вернулись к месту моей катастрофы.

Я сел на краешек нарты, ноги меня не держали, сказал:

– Всё, Олеша, я дальше не пойду!

– Перекурим и пойдём. – Но и его, я это понял, оставили последние силы. Не смог даже достать из кармана курево.

До боли, до сухой судороги сжимал я скулы, чтобы не закричать, не разрыдаться, не завопить на весь мир долгим звериным воем. Что-то происходило во мне, какая-то шла непосильная работа, от которой слабели виски, пустела голова. Только бы не завыть! Но кто-то уже поскуливал рядом, и кто-то готов был броситься в ночь, в снега, в чёрную воду. И этот кто-то был я.

А потом пришло спасительное: «Самая лёгкая смерть – на морозе». Я изнемог от непосильной работы, от клокотания и дрожи внутри себя, я устал, и хотелось спать…

Они возникли, словно из сна. Сначала олени, один, другой, третий… десятый… Мы кидались к ним, они шарахались прочь и шли мимо. Мы кричали. Мы рушили наст, в зимнюю стужу и пургу погибая в трясине…

Но появились люди!

Так я впервые встретил Ганалчи, не зная ещё, что это он. И долго не знал…

– Зачем тебе шаман? Их давным-давно нет, – говорил секретарь райкома Георгий Павлович Масягин. – Нашёл экзотику. Хочешь, я тебе пошаманю? – И смеялся всем лицом, всей своей крепкой невеликой фигурой, и плечи у него смеялись, и грудь, и руки, и обозначившийся под свитером животик. – Давай я тебя с Почогиром познакомлю! Вот мудрец! Вот охотник! Вот человечище! А ты – шама-ан! – И познакомил… с Ганалчи.

Как далеко унесли меня мысли, и как по-прежнему безлюдно вокруг!

Стараясь не нарушить осязаемой сферы присутствующих тут, встаю с постели, натягиваю унты, куртку (спал одетым и в меховых чулках), хочу на волю.

Сделать это непросто: за обычным пологом – деревянная дверца, разобравшись, открываю её, откинув влево. Жарче, чем огонь, ожёг лицо и руки мороз. Но за дверцей снова преграда, что-то вроде галерейки из колотых плах, по бокам обставленных деревцами, старыми пнями и рублеными плашками. Выползаю из этого тесного длинного пространства.

Мороз слабее вчерашнего, и можно вроде бы вжиться. Кипит и позвенивает воздух, всё вокруг размыто, окутано то ли дымом из нашего очага, то ли туманом.

Пробую идти едва заметным следом. Нымгандяк стоит на крошечной плешинке среди скалистых останцев, окружённый непроходимыми зарослями мелкой лиственки. Продираюсь сквозь эти заросли, а впереди густые еловые замети, грудно стоит чёрная тайга. Сюда не подъехать на оленях, да и пробраться сюда трудно. Путаюсь в молодых лиственках, в ползучей берёзке, а впереди, перед ельниками, бадараны – кедровый стланик, некогда спалённый пожаром.

Вроде бы и свыкся с морозом. Но это кажется. Стужа – как удар, неожиданный и вовсе вроде бы безболевой, его и не ощущаешь. Но вдруг почувствовал, что оглушён, не хватает воздуха, давит на виски, и в ушах звень и какая-то ватная глухота.

Оборачиваюсь лицом к чуму и замираю, поражённый.

Там, на взлобочке, на каменной плешинке, средь густого малолесья стоит направленная в небо ракета. Струится вокруг предстартовый дымок, вот-вот и умчится, сокрушив громом и огненной вспышкой тайгу, устилая деревья… Что за наваждение?!

Вижу рядом Ганалчи. Лицо закуржавлено, парка в снежной кухте. Спешу к нему, спрашиваю, задыхаясь от мороза:

– Нымгандяк?

– Да. Пойдём, парень, хирбу хлебать.

Сидим у костра завтракаем.

– Ганалчи, разве можно было идти сюда? Нымгандяк – всегда тайна. Так?

Ганалчи пьёт чай крохотными, экономными глоточками.

– Так. Нельзя… – отвечает.

– Но мы тут?

– Мороз, – вздыхает. – Куда деться? Замерзать нельзя. Нымгандяк уже нету… Улетел. Туда. – Ганалчи поднимает палец, указывая на хонар, где уже светятся звезды.

Это «улетел» с тем, что привиделось там, на воле, смущает душу. «Не надо об этом, не надо», – говорю себе.

Всё, что происходит сейчас, происходит от ледяной стужи, изменившей не только окружающий мир, но и всю суть мою. Всесильная ракета среди тайги, – мой сон наяву. Но почему сказал Ганалчи, нымгандяк улетел? Разве не сидим мы в чуме? Разве не горит очаг, разве не ели мы вкусную хирбу, согретую на углях колобу, разве не пьём густой горячий чай?.. Зачем сказал старик, что нымгандяк улетел?..

Мы долго молчим. Я, достаю из кармана полушубка дорожный дневник и начинаю писать. Ганалчи смотрит с интересом и вниманием, неторопливо раскуривает трубочку.

Я пишу, Ганалчи курит, смотрит и думает.

Спрашиваю осторожно:

– Нымгандяк старый?

– У-у-у, шибко старый… Никто не помнит.

Я с удивлением гляжу на него, смотрю вокруг. И тренога и другие слеги, из которых собран остов, совсем еще свежие, и олдакон не прогнил… Он понимает.

– Нымгандяк – старый, шибко старый. Тот улетел… Этот молодой. Вот так – показывает на руке два пальца.

– Два года ему? – догадываюсь.

– Так, так! Однако, два…

Дерево вскрикнуло на воле, далеко покатился, мельчась и множась, крик. Эхо.

– Значит, если есть молодой нымгандяк, есть и шаманы? – спрашиваю.

Но он словоохотлив и весел.

– Саманов нету, – качает головой. – Один есть… Последний. Не подох, однако…

– Ты его знаешь?

– Знаю.

– Можешь сказать, кто?

– Могу, однако.

– Кто?

– Я…

Глава II

Отчаянно гремит вертолёт. Перед глазами – громадная жёлтая бочка с горючкой. На стене закреплены широкие охотничьи лыжи, спальник, к нему приторочены двухручковая пила и ружье. Летим в верховья реки Туруланды. Кеша дремлет, то и дело тыкаясь головою в бочку. Скрипит обшивка, звенят разболтавшиеся винты, надсадный жёсткий скрип проникает под череп.

Поднимаюсь в пилотскую кабину. Необозримый простор на три стороны. Командир свободно сидит в кресле, на коленях карта, читает её, сличая с тем, что простирается внизу. На штурвале второй пилот. Бортмеханик Боря считает высотки, прикидывает их высоты над уровнем моря.

Как-то, будучи ещё пилотом, Боря возил геологов на Крайний Север, через тундру. На пути всего одна высотка в тысячу метров. Погода была ясной, дорога лёгкой. Заболтались. Высотку ту единственную прикрыло облаком, и они в неё въехали. Вошли в облако и вдруг чиркнули колесами по земле, покатились. Кое-как справился Борис с той неожиданной посадкой, но в последний момент споткнулась машина. Сломали винт. Не успели сообщить о случившемся, рация вышла из строя. Их по рекам, по теснинкам ищут, утюжат на бреющем болота, а они сидят на высотке, все видят, сказать не могут, локти кусают.

С тех пор ведёт в полёте счёт высоткам Борис, определяя их подъём над уровнем моря.

Погода испортилась. Летим под кучёвкой, метёт пурга. Замутило всё вокруг, вертолёт качает. Кеша по-прежнему бодается с бочкой. Вышли на речку Вювю, вошли в Туруланду, петляем, прижавшись к земле.

Вырвались на миг из морока – голубое, голубое небо, где-то палит солнце, и в этом солнце серебристой сигаркой плывёт Ту.

– Разве жизнь у нас – жизнёнка! – говорит Боря, провожая серебристую сигару глазами. Вздыхает: – У них машина, у нас мошонка.

И снова мрак, тряска, близкие макушки деревьев под брюхом вертолёта.

– Им тоже не сахар, – говорит командир, имея в виду летчиков Ту.

И Борис, соглашаясь, вздохнув, изрекает:

– Мой друг теперь на Ту летает. Поссыт на снег, а снег не тает…

Погода вконец испортилась. Хиус застит сопки, хребты, белые равнины горных тундр. Внизу – чёрные пики елей, штрихи лиственок, редкие строчки почти круглых пятачков – волчьи следы. Мощные выброды сохатых. И, наконец, копыны оленей.

Мы летим в стадо, к которому подошла стая волков. Будем, если выследим, бить их с вертолёта в два карабина.

Меня извела качка и однообразное мелькание деревьев, белизна утомила. Слава богу, появилась надежда: коли есть на земле оленьи закопушки, то и стадо недалеко – близка посадка.

А вертолёт, как пущенная юла, продолжает ходить кругами. Мелькнула занесённая снегами зимовейка. Ну да, та самая, на Вювю. Словно обожгло внутри, всколыхнулось сердце. Как давно это было…

Вот и приток, по которому поднимались к Туруланде с Ганалчи. Я тогда не предполагал, что буду свидетелем последнего на этой земле события, о котором до сих пор никому неизвестно. Последнего…

Внизу на реке лёгкие петли оленьих следов и ровный, пересекающий их след волка.

Вот и олени. Посреди белой Туруланды, две оленухи прижались к крупному оленю, который чуть-чуть боком сторонится налетающего на них грома. Шеи у всех трёх длинные, головы высоко подняты – гордые. Дикие. Свободные.

И снова белый простор, заштрихованный лиственками, и нет никакой надежды, что в этой пустыне мы отыщем малое стадо домашних оленей, людское жилище.

Но вдруг, вывалившись из-за хребта, с широкого виража врываемся в стадо. Животные переполошённо бегут прочь, но ни жилья, ни людей не видно. Садимся в прищупку. Командир выбрал просторную плешинку, то ли марь, то ли приток Туруланды.

Боря выпрыгивает за борт и по грудь уходит в сугроб. Обтаптывается, отыскивая острым щупом твердь под снегом. Кричит, багровея лицом, и машет руками:

– Можно сидеть!

Вертолет оседает в снег по самое брюхо. Под выхлопными трубами мгновенно возникают жёлтые с чёрной копотью влумины.

– А люди где? – спрашивает Кеша, перестав бодаться с бочкой, протирает заспанные глаза.

«Вот мы и свиделись снова, Туруланда, – думаю я. – Где-то всё тут и было. Где-то тут, где-то тут», – стучит в висках кровь.

– Привет аборигенам! – кричит Борис.

По сугробам, утопая по шею, проминается эвенк, скаля зубы и улыбаясь.

– Ты что, тут один? – спрашивает командир.

– Ещё другой есть, Васка, брат мой. И Коля Бобыль, и я с бабой… Дети есть, мои дети. – Весело смеется. – Васка болеет, однако, грипп у него. Эпидемия. Айда чай пить!

– Тебя-то как звать? – спрашивает Борис.

– Шурка.

– А волки есть?

– Волки есть.

– Ну, тогда показывай, мы их всех побьём…

– Покажешь их, – смеётся Шурка, – они хитрые! Умные, сволоть! Умнее человека…

– Тебя – да! – острит Борис.

Но Шурка не обижается, очень доволен остротой. Идём пить чай.

В снегу пробита широкая дорожка. По ней Шурка катит санки, в которых молча и солидно сидят его дети – двое. Кеша спешит за Шуркой, а следом весело и шумно идут вертолётчики. Я отстаю.

Где-то тут всё и было…

Широкие выполья оленьих пастбищ в реденькой таёжке. Крохотные лиственки, ползучая берёзка, наволоки мелкой сосны, но кое-где исполинами протыкают небо лиственни, рогатые и огромные.

За пастбищами тайга гуще и чище, там стойбище эвенков. Но чумов не видно. Под соснами натянуты палатки с чёрными коленами печных труб. От дерева к дереву, под самыми макушками, антенна.

В палатке душно и жарко. Васька лежит на надувном матрасе, подсунув под локоть чёрную от копоти подушку, чихает и кашляет. Громко жалуется на «эпидемию гриппа», которая косит всех без разбору. Но лицо весёлое, довольное, и он, демонстрируя нам, пьёт лекарства, высыпав с десяток таблеток в маленькую мягкую ладошку. Смачно жуёт, щурится:

– Спирт есть?

– Нету! Нету! – говорит Борис. – Нынче сухой закон.

– Лекарство на спирту должно быть, – объясняет Шурка.

Жена его разливает по кружкам чай, раскладывает подмокшие куски сахара, чёрные сухари.

– Всё тайге, тайге! Подохнешь в тайге этой! Где условия? – громко кричит Коля Бобыль, ни к кому не обращаясь. Но его никто и не слушает.

Пьём чай, смеёмся, болтаем ни о чём. А Коля Бобыль всё кричит:

– Ты условий создай! В тайге нету условий! Подыхай! Жену не видишь. Детей не видишь… Какая жизнь, а?!

Ни жены, ни детей у Бобыля нет.

– Волк умный, – говорит Васька. – Научно-технический прогресс знает!.. Ты летишь, – Васька обращается к командиру, – он слышит. В снег ляжет и лежит. Закопается, сволоть.

– Не выпугнешь? – спрашивает Борис.

– Нет.

– Выпугну, – говорит командир. – Не стерпит. Моя керосинка, чёрт-те как гремит – мёртвого поднимет. – И вдруг весело ко мне: – Улетали – ей шесть часов оставалось. Три часа сюда летели. Значит, три осталось.

– До капитального, что ли?

– До списания! Всё, точка. Отходила. А машина лёгкая, хорошая. Может, купим в складчину?

Я отказываюсь.

– А жаль, – говорит Борис. – Недорого, Николаич, подумай. Жаль в утиль.

– Продай мне, – вдруг говорит Шурка.

– Почему в палатках живёте? – спрашиваю у Васьки.

– Дают, – отвечает. – А где же жить?

Палатки большие – экспедиционные, добротные, с окошками и хорошо запахивающимися двойными пологами. Но натянуты небрежно, кое-как, без умения. Чёрные, проржавленные трубы выткнуты в одно из окошек. В палатке грязно, куль у входа с белой дорожкой просыпанной муки, обрубки полуоттаявшего мяса, старая одежда, бродни кучей, поломанные, застеленные стеганными одеялами раскладушки с чёрными постелями на них.

– А в чуме чего не живете?

Шурка задумался ненадолго, но с ответом нашёлся:

– Строить надо…

– А ты умеешь?

Коля Бобыль закричал, замахал руками:

– Не умеет он! Ни хера не умеет! В интернате жил! Там печка, кроватки, жратва от пуза! Он чума настоящего не видел. Зачем ему чум? Он в интернате жил. Ни хера не умеет…

– А ты умеешь? – спрашиваю.

– Я всё умею!.. Но не хочу… Условий нету! Где забота о человеке? Вон Васька гриппом болеет. Эпидемия. Завтра я заболею, потом Шурка, потом Танька и дети. Все подохнем! Нет заботы? Не хочу чум строить, не хочу тут жить…

– Рация испортилась, – говорит Шурка.

– Никому дела нет! – кричит Бобыль. – Сяду с вами на вертолётку и улечу.

– Я тебя не возьму, – говорит командир. – Тебе работать надо. Ты ведь сколько в центре без дела шатался. Месяц? Два?

– Его пьяного изловили! – хохочет Шурка. – Его директор сюда в мешке привёз.

– Как в мешке? – Борис аж подпрыгнул.

– А он в спальнике спал. Его так в вертолёт и положили… И сюда! – хохочет Васька. – Проснулся, под сосной лежит, в стаде. Его олени лижут. С того и орёт.

Бобыль слушает, широко открыв рот, пытается что-то произнести, но вскакивает и выбегает из палатки.

– Обиделся, – говорит Борис.

– Не-е-ет, – машет рукой Шурка. – Он не умеет…

– Чего?

– Обижаться. Кричит только… Всегда кричит.

– Когда трезвый, – добавляет Васька.

– Зачем он вам тут? – спрашиваю.

Все, даже дети, что мусолят куски сахара, удивлённо смотрят на меня.

– Он тайгу знает… Оленей. Он знает!

– А ты знаешь?

– Я знаю! – кричит Васька. – Я соболя в глаз бью. Я тебя куда хошь выведу. Я знаю. Оленей боюсь, они меня топчут.

Снова все смеются.

– Гоняй его туда, сюда, – имея в виду оленей, говорит Шурка. – А зачем? Не знаю. Надо, чтобы механический пастух был…

Возникает разговор, что пора бы и автоматизировать труд оленевода, а то лучше следить за стадом по телевидению, и чтобы у пастуха был маленький такой вертолётик – сел верхом и – та-та-та – полетел. Или того лучше, чтобы робот летал, а ты кнопки сиди и нажимай.

– Можно пункт диспетчерский сделать, – говорит серьёзно Шурка.

Слышно, как покрикивает на оленей Бобыль, как разговаривает с ними, уходя всё дальше и дальше от палаток.

– По стаду пошёл. В обход, – прислушиваясь, говорит Васька.

– Распугали вы стадо. Его сбить надо. Дикие ходят. Увести могут, – объясняет Шурка. И добавляет: – Без Бобыля нельзя. У меня дети, у Васки грипп. Мы и так без него полтора месяца вкалывали. Совсем устали…

Выходим на волю под красные сосны. Даже Васька, забыв про «эпидемию гриппа», вылазит из палатки.

– Шур, а в чуме хуже жить? – спрашиваю.

– Старики живы были, всегда в чуме жили. Хорошо.

– Ты, правда, не можешь поставить чум? Не умеешь?

Он качает головой:

– Не умею…

Идём молча к вертолёту. Лётчики уже в машине. Борис хлопочет вокруг. Шурка думает, шагая рядом, бредёт по сугробам, сойдя с тропы, и вдруг как-то очень по-детски вздыхает:

– Я из интерната бегал. Меня привезут, а я убегу. Учитель за мной на стойбище едет. Опять в интернат привезут, а я опять убегу. Сам стойбище находил. Наказывали. Потом отвык бегать. – И вдруг засмеялся: – Нам учитель картинку покажет, краси-и-вая машина. Рисуйте. Я рисую, рисую – не умею. Возьму оленя нарисую. Хорошо. И все ребята наши оленей рисуют, машинку не могут, не получается. Учитель нас ругает.

Я грустно улыбаюсь, вспоминая стихи Алитета Немтушкина, как дети эвенков рисуют оленя. Проносятся над тайгою самолёты, совершают своё кружение спутники, ракеты перечёркивают громадное северное небо, гудят на буровых бульдозеры, и ревут двигатели, а дети эвенков все ещё рисуют оленей. И Шурка рисовал. И брат его, Васька, тоже, а теперь боится, что затопчет его стадо.

– Ваш род Почогиров? – спрашиваю.

Шурка удивлённо пожимает плечами.

– Не знаю.

– Тебе сколько лет?

– Двадцать три…

Ну, конечно, он ещё не родился, когда мы с Ганалчи кочевали тут совсем неподалеку.

– А ты знаешь, кто такой Ганалчи?

– Нет.

Неужели и памяти не осталось о нём?

Мы подходим к вертолёту, Шурка ловко запрыгивает в машину. Будет корректировать полёт, выводя на волчью стаю. Второй пилот уступает ему кресло, а сам встаёт за спиной коман-

дира. Шурка удобно устраивается в кресле, напяливает на голову наушники, ощупывает пальцами ларингофон.

– Поехали, – командует.

«Керосинка» отчаянно гремит, сотрясаясь в неудержимой дрожи, завывает и спустя время неохотно выбирается из сугроба и вдруг стремительно по наклонной взлетает над тайгой.

Из-за спины второго пилота вижу, как Шурка, переговариваясь с командиром, указывает пальцем ориентиры.

Мы идём в облёт стада, где-то глубоко внизу мелькнула чёрной букашечкой фигура Бобыля, а рядом с ним две точечки – собаки.

Волки вышли к стаду пять дней назад. Стая давно кружила вокруг да около, пятная снег, но держалась от пастбищ на довольно большом расстоянии. В их диком сообществе много молодняка, ещё не обученного охоте.

Бобыль, доставленный в тайгу необычным способом – в мешке, сразу же ушёл в стадо. Шурка с Васькой не больно убивали ноги, и олени разбрелись по громадной территории. Тут были тучные ягельники, снежный храп рыхлый и сугробы неглубокие.

Бобыль двое суток сбивал разбредшихся оленей, считал их, всё ещё тем счётом, который унаследовал от предков, который так и не удалось никому узнать, кроме тех, что всегда жили среди оленей.

Удивительная способность – одним взглядом охватить громадное, в несколько сотен голов, постоянно движущееся и перемещающееся стадо и тут же определить – нет трёх: матки с двумя тугудками, или: учага, матки и тугудки. Трёх! Из трёхсот! Бывал и я свидетелем такому.

– Сколько в стаде оленей, Афанасий? – спрашивал инспектирующий.

– Счас?

– Да, сейчас.

– Триса, однако, – вмельк глянул эвенк на собранное стадо. – Ещё гоняются, однако, в тайге мои ребята за отбившимися.

– А всего сколько?

– Пятнасать, ребята, однако, счас пригонят. Будет триса пятнасать. Всего и есть.

Из тайги выгоняют одного, другого, третьего, десятого, четырнадцатого… Пятнадцатого нет.

– Однако Стёпка за ним бегат. Считай, начальник.

И начинается долгая утомительная работа: считают по головам, отгоняя просчитанных и сдерживая остальных. Счётчики в мыле, инспектирующий охрип от крика. Наконец суммирует счёт – триста четырнадцать.

– А пятнадцатого съел?

– Зачем съел? Нельзя! Вот он…

Стёпка верхом выезжает на учаге из тайги, объясняет:

– За дикой маткой далеко-о-о учаг убегал…

Бобыль знал счёт. А Шурка с Васькой нет. С темна до темна бегал тайгою, собирал оленей, делал стадо. Ругался на молодых оленух, отчитывал маток, стыдил вожаков – распустили семью, бродят сами по себе, лишь бы нажраться. Выговоры строгие, но без криков, которые он позволяет себе только в общениях с людьми. Не перестаёт кричать: «Нету заботы о человеке!..»

Оленьих вожаков Бобыль уважал и немного заискивал перед ними. Как ни крутись, а хороший вожак в стаде – большая помощь человеку.

Олени понимали Бобыля, стыдились, выгуркивая что-то в своё оправдание. И, совестясь, подходили к Бобылю, тыкались мягкими губами в его руки. Он их гладил, каялся, какой он плохой человек, променял их на водку. И шёл без отдыха вокруг стада. Так и выбрел на волчьи тропы. Глянул на следы, на испятнанный мочой снег, все понял. Стая сильная, пока

сытая. Семь маток, трое самцов, могучий вожак, остальные (много их) молодь. Это и напугало Бобыля.

Стая пришла не просто на охоту, чтобы утолить голод. Вожак привёл молодь учить резать добычу.

Два дня кряду и по ночам тоже Бобыль сторожил стадо, выстрелами отпугивая волков. Шурка с Васькой далеко в тайгу не ходили, боялись, но до хрипоты орали целыми днями у палаток. Бобыль знал, что волки не боятся ни криков, ни выстрелов и не нападают только потому, что мудрый вожак «приучает» стаю к оленьему стаду.

Рация, которую вот уже полгода изо дня в день чинил Шурка, неожиданно заработала, и они успели передать о волках на центральную усадьбу…

В последний обход Бобыль обнаружил, что хищники вплотную приблизились к стаду, словно бы накинули петлю на жертву, осталось только затянуть её. Ночью начнётся резня. Его очень обрадовал прилёт вертолёта, понравились лётчики и охотники. Он даже хотел попроситься в машину, чтобы показать распадок, куда уходили отпугнутые им звери, да раскричался некстати, навёл критику и сам же себя наказал. Молчать бы надо. Но молчать Бобыль не умел. Всё не так делалось вокруг него, всё поперёк. Ему нравились слова «забота», «условия», а ещё больше часто повторяемые другими фразы, которые он выучил наизусть и к месту и не к месту выкрикивал их, размахивая руками.

Бобыль шёл в противоположную сторону от лёжек зверей не потому, что боялся попасть под выстрелы, он знал: стадо, напуганное пальбою, двинется к гольцам, там его надо перехватить и повернуть руслом Туруланды на водораздел, где тоже хорошие ягельные места.

– Приготовиться! – крикнул второй пилот, спрыгивая в пассажирскую кабину. Распахнул дверцу, укрепил её так, чтобы не захлопнулась. Кабина вмиг промерзла, и жестокие потоки ветра хлынули в распахнутый проём, ослепив и оглушив на миг. Кеша не торопясь, надел и застегнул широкий пояс, прочно соединённый с вертолётом стальным тросиком, в мизинец толщиной, лёг у левого края двери на бок, прикинул к плечу карабин и стал внимательно глядеть за борт. Мы со вторым пилотом полулегли на сиденья у иллюминаторов, с которых сняли плексигласовые окошки.

Вертолёт, почти касаясь брюхом вершинок деревьев, шёл вдоль широкой падушки. Там в густом молодом еловом подгоне, в зарослях непроходимых кустарников залегли волки.

Бобыль водил туда Шурку. И они долго следили с сопки над падушкой, выискивая лёжки. Бобыль находил их и, считая, показывал Шурке. Шурка не увидел ни одного волка и лёжек не разглядел, но места, указанные Бобылём, запомнил. На них он и выводил вертолёт.

Волки лежали прочно. Первый заход ничего не дал. Тогда командир, снизившись, вошёл в падушку и, почти касаясь колесами снега, помчался по ней, оглушая, окрест грохотом и воем.

Тайга летела перед самым лицом, казалось – ветви хлещут по обшивке. Стало муторно, и на миг ушло сознание.

Ещё момент, и вертолёт влипнет в частолесье. Но командир выдёргивает машину, взмывая в небо.

– Нет их там! – кричит на ухо второй пилот.

– И не было! – орёт Борис и поднимается с пола. Лежал за спиной Кеши, страховал.

Но в это время что-то кричит командир, и второй стремительно взбирается в кабину и тут же стремительно скатывается к нам.

– Подняли! – Он плюхнулся на сиденье, изготовился к выстрелу.

Молодой волчишка, не выдержав вертолётной атаки, оставил лёжку и мчит вниз падушкой к руслу Туруланды. Он весь как на ладони.

Командир закладывает вираж, и нам чётко виден зверь. Мосластая парнишковая стать, длинные и оттого неуклюжие ноги (но несут они его быстро), чуть вжатая в лопатки шея, и во всём неудержимый страх.

– Как реактивный прёт! – успевает выкрикнуть Боря, и перед нами только небо, только далекие перистые облачка. Когда и распогодило – не заметили.

– Что он делает! – сердится Кеша, готовый к стрельбе. Но в следующий момент понимает внезапный маневр командира. Из буерака вырывается ещё один зверь и мчит, что есть духу за волчишкой. Бег его могуч и красив. Тело стелется над землёй мощно, в каком-то удивительно расчётливом и согласном ритме работают попеременно сдвоенно передние и задние лапы. Волк набирает скорость могучими толчками мышц, но этих толчков не улавливает глаз.

Командир, чуть накреня машину, выводит Кешу на выстрел. Зверь, словно бы почувствовав это, меняет направление бега, уходит под брюхо вертолёта.

Ещё манёвр. Теперь нам видны оба волка. Матёрый, сбив молодого с пути к руслу Туруланды, уводит его в узкую долину ручья. И тот уже не мчит сам по себе, абы унести ноги, но подчиняется старшему.

– Хитрюга, сволочь! – орёт Кеша, до пояса вывалившись за борт, и стреляет.

Хрясь! Хрясь!..

– Мимо! Мимо! – орёт истошно Борис.

– Возьми левее! – кричит Кеша командиру.

Второй запрыгивает в кабину. Машина резко меняет курс, сваливаясь влево.

Но волки успевают достичь узкого каньона ручья и бегут по нему, мелькая сквозь разнолесье.

Ручей невелик, с километр, не больше, а там снова чистое место, склон каменистого распадка, почти до краёв занесённого снегом. Это хорошо видит командир, не отпуская волков, гонит по ручью.

В голове всё перемешалось, руки дрожат, пот заливает глаза, нечем дышать. Никакой не стрелок я в таком состоянии. А Боря, словно бы и понял, выхватил из моих рук карабин, оттиснул в угол.

Гремит, сотрясается, вот-вот развалится наша видавшая виды машина. Поднимаюсь в пилотскую. Снова простор на три стороны. Слева громадные пустые тундровые покати, справа редколесье тайги и широкое поле Туруланды. Впереди узкая змейка покрытого крепкими наледями ручья и распадок, рассекающий еще одну чистую покать вершинных тундр.

И под самым стеклянным носовым колпаком вертолёта два стремительно мчащихся к своей гибели зверя. Я знаю, как стреляет Кеша. И то, что смазал он, не случайность. Боялся, не пойдут по ручью волки. Он эти места знает. Загнал их в ручей. Хочет добыть обоих.

– Скажи командиру, – кричит мне второй, – не спешил чтобы! Надо гнать по распадку. А у гольцов вывести на выстрел.

Я передаю. Вижу и распадок, и гольцы, и волков, которые, словно подчиняясь задуманному людьми, уже стелются вдоль распадка по левому его срезу. Над правым громадным козырьком застыли снежные задувы. Левый, гладкий, удобный для бега. Звери увеличили скорость, но вертолёт по-прежнему висит над ними.

Командир снижается, сокращая расстояние. Я отчётливо вижу волков. Впереди волчица.

Мне становится не по себе. Я забываю, что мы прилетели сюда на волчью охоту, что стая, если её не отстрелять, учинит в стадах кровавую бойню, что могут пострадать и люди: Бобыль, Васька, Шурка с Таней, дети… Сейчас мне мучительно хочется одного: чтобы эти двое спаслись.

Вовсе не от страха вымахнула из скрытни волчица. Мать поняла всю нелепость поступка своего ребёнка, страсть защитить его, увести из-под выстрелов заставила это сделать.

До боли сжимая скулы, я едва удерживаю крик отчаяния, всё во мне всколыхнулось, всё панически закружилось… Только бы остановить эту охоту. Любой ценой! Любой!..

И вдруг волчица с полного бега делает стремительную скидку. Большое тело, вмиг подобранное, ядром перелетает через распадок, исчезая в сугробе под толстым козырьком надува,

туда же летит и её ребёнок. Подрезанный двумя тяжёлыми ударами наст срывается с места, и снежная лавина скрывает следы звериной скидки.

А командир уже развернул вертолёт для боя. Но внизу тишина, и я скатываюсь туда, захлёбываясь от радости, ору:

– Бей! Бей их! Бей!

Кеша пожимает плечами, тянет шею за борт. Борис с открытым ртом и выброшенным на изготовку карабином застыл у иллюминатора. Второй в недоумении разводит руками.

– Где они?

– Были, – говорит Кеша, встает в сердцах, сбрасывает пояс и захлопывает дверцу. – Как эта зараза выскочила, я понял, охоты не будет…

– Какая зараза? – спрашивает Боря.

– Волчица… – Кеша расстроен, его досаде нет конца. А я хохочу, облапив бочку, и, как Кеша во сне, бодаюсь с ней.

– Упустили, упустили, упустили…

– Чему радуешься?! – спрашивает Борис. – Стрелять раньше надо было. Охотнички!..

Вертолёт возвращается к месту звериной лёжки.

Кеша висит за спиною командира, разглядывая землю.

– Так и есть! – кричит он. – Пока мы тех гнали, эти поднялись и в урманник ушли.

Из кабины спускается очень счастливый Шурка – приобщился к техническому прогрессу, посидел в кресле второго пилота. Второй идёт на своё место, аккуратно убрав в футляр бокфлин.

– Всё! – говорит Борис. – Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака…

Вертолёт снова приземляется на месте прежней посадки.

Таня с Васькой уже снимают палатки. Бобыль повернул и направил стадо на новые пастбища. Пригнал десяток ездовых оленей и теперь впрягает их в нарты, вяжет аргиш.

– Мужики, поморможничайте маленько, – предлагает командир, – а мы с Борей в керосинке покопаемся…

– А что с ней? – тревожно спрашиваю я, поглядывая на донельзя закопченную «лёгкую» нашу машину. Никто не разделяет моей тревоги.

Второй, уже прихватив на всякий случай ледоруб, спешит к реке.

– Пойдём на талицы, – говорит Кеша. – Там хариуса прорва.

Мы идём к чёрным быстринкам чистой воды, туда, где речка Вювю, делая плавный изгиб, вливается в Туруланду.

«Где-то тут всё и было», – думаю я, и в сердце далёким-далёким эхом отзывается давным-давно прожитое и пережитое, когда был я молод и только-только начиналась жизнь, и столько было вокруг непознанного, тайного и удивительного…

– Волк, – говорит Кеша, сладко попыхивая сигареткой, – из всех зверей первым приспособился к НТП (так называет он научно-технический прогресс). – Раньше его обложил флажками – под ствол лезет, а через них не пересигнёт. Теперь что хотишь вешай, сиганул – нету, ушёл из обклада. Раньше как мы их, сердешных, били? На вертолётку – и пошли по-над тайгою. Страсть, гула вертолётного боялся! Вскакивал – и ну нарезать! Пока всю стаю не перебьём, на землю не присядем. Теперь – сам видел. Так ведь, гляди, что учудила! Ей, вишь, ребятёнка жалко стало. Так ведь знала, что нас перехитрит. А я того не знал. Теперь учёный буду. А знаешь, ещё чё теперь творят: если их всех разом подымешь, так ведь они не друг за другом стаей, как было, нарезать начинают, а вроссыпь. Пока одного гонишь, другие уйдут. Вот ведь мудрая скотинка!

– А что эти? – спрашиваю я.

– Эти сюда больше не пойдут. Они дикие стада пойдут пасти…

– Есть дикие?

– Ого-го, сколько! Три больших стада!..

Глава III

Снова скользим по белым просторам. Чёрные вешки еловых лап, определявшие наш путь, исчезли. Река тут широкая, и тайга, далеко оттиснутая крутыми берегами, вовсе исчезла из поля моего зрения. Лежу в нарте на спине, подоткнув под голову свёрнутый валиком спальник. Перед глазами только небо, крупные звёзды, и льётся из ковшика млечный след. Если упереться локтями и чуть-чуть приподняться, то в этом неограниченном просторе возникнут белые спины оленей, их мерно покачивающиеся рога, а чуть дальше и впереди, тоже белая, спина Ганалчи, его и олений парок от дыхания, и ничего больше. За спиной Ганалчи, за оленьими рогами звёзды, небо и разлитое из ковшика молочко.

Трое суток лютовал мороз, и трое суток жили мы в другом мире.

Смог ли я выжить в нём, в этом другом, хотя бы несколько часов без Ганалчи? Не смог бы!

Еще и не приходил настоящий мороз, а я уже блаженно шагал на Землю Угу. И зацветала тайга, и пахли черёмухи, бежали тёплые реки, птицы порхали у моего лица. И катился вперёд, как маленькое солнышко, весёлый бубен. И было хорошо и чисто. Но Ганалчи тряс меня за плечо…

И ещё одна ночь в тепле и холе, когда мягкое медвежье одеяло, обнимая, пахнет летом Земли Дулю, когда слипаются глаза, но всё ещё видишь высокий огонь очага, чёрный чайник с детскими мягкими пузыриками на самом носике, что вспухают и лопаются, и тогда вскрикивают тоненько угольки и можно различить сквозь смеженные веки, как возникают на них чёрные пятнышки, а рядом, подогнув под себя ноги, сидит человек, поправляя и поддерживая огонь в очаге, посапывая крохотной трубочкой, и то ли бормочет себе под нос что-то, то ли поёт.

И снова за берестяным покровом нымгандяка с грохотом умирает камень, словно бы под самым ухом пальнули из пушки, но это уже знакомо. Только вдруг закричал кто-то в тайге, зарыдал, стеная в великой боли. И на ту боль откликнулась другая, и ещё, и ещё… Сердце словно бы сжато холодной ладонью, и всё туже и туже. И нет сладкой дрёмы, счастливого созерцания сквозь смеженные ресницы малого круга доброты и покоя.

– Что это, Ганалчи?

– Ультан – эхо… Чай пей, однако…

Чай крепкий, пахучий. Тяну его через обломистый кусок сахара. Темнеет синеватая грудка, рыхлеет в пальцах, но не тает.

Ганалчи улыбается. А мне совестно – в дитя превратился. Дитя и есть. Где мне против такого морозища, днём вышел на волю, до сих пор, словно от ожога, свербит в горле, и голос охрип.

Так прожили три дня. И огонь, и тепло, и пища были, и словно бы сон, вокруг всё нереально, все по-иному, может быть, так, как на Земле Хэргу. И долгие, долгие крики и плач. Ультан. Эхо.

Хорошо в нартах. И этот мороз (Ганалчи говорит, больше сорока, а под зарю и к пятидесяти выдавливает) теперь и не мороз вовсе, бодрит и радует. Недосягаемо близкий купол надо мною совершает медленное движение, и если чуть-чуть подняться на локтях, понимаешь, что к нему правит оленей Ганалчи.

И я думаю о Земле Дулю, о Земле Хэргу и Угу. И слова сами собой прорастают и светятся, как эти нескончаемые звёзды, и льётся молочко из Большого ковша. Как хорошо на языке Ганалчи называется этот свет, эта сфера, неизмеримый простор мироздания – эллюн.

И Север нашёптывает тихое:

– В пространстве – эллюн – заключаются Земли: Хэргу, Дулю и Угу.

Хэргу под нами, и ниже, и ниже, и ниже. Дулю – этот плот, уносимый рекою, и солнце, и звёзды, и мы. Угу – это то, что над нами, и выше, и выше, и выше. А дальше? А дальше три Бога – Хавоки – вершат всем на Хэргу, Дулю и Угу.

Хавоки Хэргу держит души умерших. Хавоки Дулю держит души живущих. Хавоки Угу… О нём ничего неизвестно. Хавоки Угу – это всё, что постичь невозможно, и только лишь мыслью к нему прикоснуться, но словом его обозначить нельзя…

О Хавоки Угу эвенки молчат. Ганалчи о нём тоже ничего не говорит. Да и других богов нельзя поминать всуе. Поэтому в быту, подразумевая того или иного, говорят – амака.

Медведя называют тоже амакой или амиканом – дедушкой. Если очень точно перевести эти слова на русский язык, то будет означать и «амака» и «амикан» – предок. Отсюда и произошло некое бытующее поныне мнение, будто в разговорах эвенки утверждают, что произошли от медведя. Но медведь в эвенкийском языке – «куты». Тут явное недоразумение, поскольку, утверждая, что происходит он от амаки (амикана), эвенк имеет в виду предков.

– Я происхожу от предков.

Но звери, и птицы, и рыба, по утверждению эвенков, все они – древние их предки. Самый могущественный в тайге и тундрах, конечно, медведь. Отсюда и почтительное к нему отношение – предок.

Как-то я спросил у Ганалчи:

– Ганалчи, скажи, почему разные люди эвенки по-разному переводили мне слово «чалдон»?

Он внимательно слушал меня, по обыкновению своему мягко улыбаясь.

Если я хочу вспомнить его лицо, то вижу сначала улыбку. Вовсе не означающую снисходительность к младшему или, наоборот, зависимость и незащищённость. Улыбка – отношение к миру, в котором он, Ганалчи, – начало Доброго.

Я продолжал:

– Одни говорят: чалдон – Венера, другие – Марс.

Откровенно сказать, я считал, что происходит это от незнания звёздного неба. Об этом и сказал тогда Ганалчи. Он покачал головою.

– Эвенк знает небо. Они были вместе под покрывалом ночи, как муж и жена. Но их застало солнце и разлучило…

Не знаю, что помешало мне подробнее расспросить старика о Марсе с Венерой, но записал я тогда в тетрадь только это: «Ганалчи говорит, что Марс с Венерой (разумеется, планеты) были муж и жена». Скорее всего, увлекло другое.

«Чалдон» в нашем языке – «сибиряк». Это в недалеком прошлом и нынче шутейно. Раньше чалдон – инородец, туземец, тунгус. Что же выходит? Кто-то называл себя чалдонами, то есть людьми утренней звезды, или просто-напросто марсианами. Увлекло меня это так, что и не расспросил Ганалчи о такой необычной супружеской паре: Марс и Венера.

Древние греки в мифах о богах своих отдавали этой любви должное. Около трёхсотого года уже нашей эры, во время императора Диоклетиана, Репосиан сложил в стихах: «Любовь Марса и Венеры».

Ни один из тех, кто говорил мне о Марсе и Венере, и Ганалчи тоже, ни читать, ни писать по-русски не умели, не знали они и своей грамоты, кроме той, о которой следует рассказать. Однако именно от них узнал я о той неземной любви.

Марс и Венера остались неразлучимы в языке маленького народа, а может быть, даже не народа, а крохотного родового сообщества, и миф тот древний как бы нашёл в этом своё реальное подтверждение.

А небо всё плыло и плыло надо мной, и скользили, летели к нему наши упряжки. Я улыбался, вспомнив нерадивого клеврета Марса – Алектриона. Это он должен был известить своего владыку о восстании зари, но не известил, проспал, вероятно. И Солнце застигло Марса

с Венерою. Древние никогда не прощали нерадивости, и Алектрион был превращён в петуха. Трижды кричит он, предупреждая приход зари.

А есть ли на нашем звёздном небе нерадивый клеврет Марса? Тихо плывут над лицом моим созвездия, струится, мерцает, исходит странный этот свет. Мало что знаю об этих звёздах. И двух десятков созвездий не назову. А Ганалчи знает.

В один из первых приездов записал я легенду, рассказанную внучкой Ганалчи. О том, как когда-то, очень давно, в Буньском меге было страшное сражение с Мани. Девочка плохо говорила по-русски.

– Кто такие Мани? – спросил я.

И она объясняла, поднимая высоко руку и привставая на мысочки:

– Високо, високо, – твердила.

– Ага, высокие-высокие люди! Большие! – кивал я и тоже тянул к небу руку.

– У-у-у, – гудела девочка.

Я опубликовал эту легенду в одной из первых своих книг об эвенках, добросовестно передав рассказ девочки о битве с очень большими людьми – Мани. Но спустя время узнаю, что слово это на эвенкийском языке означает Орион. И внучка моего теперешнего друга и проводника не рост людей определяла, а показывала мне на созвездие, которое висело тогда над тайгою.

Сказал об этом Ганалчи, он согласно кивнул:

– Так, так.

– Что так? Выходит, тут вот сражались с землянами те, что пришли с Ориона – Мани?

– Они… – говорит Ганалчи. Он знает…

Нашей цивилизации надо было шагнуть в космос, чтобы вдруг открыть в странных, подчас лишённых какого-либо смысла культовых обрядах маленького народа удивительную связь с небом и звёздами, – думается мне под лёгкий бег оленей по белому долгому полю северной реки.

Чего только не нашепчут Крайний Север, и эта ночь, и звёзды, и чуть шуршащий шорох снега под полозьями нарт. Теперь мне никуда не уйти от этих земель, летящих где-то рядом с Дулю. Дулю – это плот, уносимый рекою, и солнце, и звезды, и мы… Тэмулен – так звучит на эвенкийском «плот». «Тэмулен, тэмулен», – повторяю я.

Когда впервые русские встретили эвенков, те уже умели считать. Счёт вели на специальных деревянных дощечках зарубками. Малые зарубки – единицы, большие десятки. Существовали специальные «записные книжки» – дощечки, куда записывали эвенки свои расчёты с купцами. Дощечки эти после весенних и осенних ярмарок прятали в тайге. С собой не возили. Случалось, что купец, путая счёт, начислял долг, уменьшая число полученной пушнины и мехов. И крайне удивлялся, что «тунгус» за год не только не забыл, но совершенно точно восстанавливал истину в расчётах.

Я замечал, что на расчётах, а точнее, на удивительном каком-то счёте основан феномен необычайной, как бы врождённой безошибочной ориентации эвенков в тайге и тундре. Ганалчи совершенно точно знал количество рек, ручьёв, речушек, притоков, стариц, озёр на громадной территории, держал в уме количество хребтов, возвышенностей, сопок. И что поразительнее всего – число созвездий и звёзд на зимнем и летнем небе.

Как же так получилось, что никто не обратил внимания на эту магию чисел? На эту прекрасную способность человеческого разума всё подчинять счёту тут, в ледяных пустошах Крайнего Севера, среди первозданной земли, где неисчислимо далёкое небо ближе всего к человеческому сердцу!

А может быть, она тут и есть, та самая загадочная страна древней цивилизации, которую ищут учёные совсем в иных краях?!

Скользят нарты, бегут олени к близким звёздам, и бег их в ночи стремителен и мудр.

Сколько раз ломал себе голову: почему это эвенки перед дальней кочёвкой бессмысленно толкутся целый день, а падёт на землю вечер, заструятся синие сумерки, поднимутся первые звезды, как вдруг заторопятся, заспешат и кинутся в нарты, погоняя оленей в ночь? Не проще ли, не осмысленнее было бы пуститься в дорогу с утра? Как я сердился на своих проводников перед дальней дорогой, когда попусту тратили они время, слонялись по селу, откладывая с часу на час отъезд, а мне так было дорого это коротенькое время зимнего дня. Но ничто не могло подействовать на них – ни просьбы, ни доказательства, ни обида, ни даже угрозы…

Не было в моей памяти ни одного отъезда куда-либо утром ли, днём ли – обязательно в ночь. Смеялись над этой особенностью эвенков, объясняли её и ленью, и беспечностью, и еще десятками неприглядных душевных качеств, и всякой чертовщиной объясняли. И в этот раз, уходя из нымгандяка, мы прохлопотали до сумерек и только с первыми звёздами тронулись в дорогу. Я спросил: почему так?

Ганалчи объяснил:

– Восходит Хэглен – начинается утро.

Хэглен – эвенкийская Полярная звезда. С восходом Полярной звезды, по представлениям эвенков, начинается новый день. Вот где, в каких древних далях лежит этот обычай – уходить в дорогу с первой звездой. На Севере первым поднимается и горит в небе Хэглен, обозначая приход утра.

Свою страну эвенки называли издревле – ночная сторона Земли, полночная страна. Ещё во времена Пушкина северные страны именовались в нашем языке Полночными.

Полночных стран краса и диво…

И у славян северные страны определяются ночными. Пивнична башта (Северная башня) – читаю под фреской в Киевской Софии… А коли ночная сторона, то и значение времени суток иное.

Вспомнилось, как начальник нашей геологической экспедиции, разгневанный этим вот «разгильдяйством», выгнал с базы уже навьюченный олений аргиш. Буквально взашей гнал эвенков-каюров, страшно ругался. Кстати, эвенки не выносят крика. От крика они заболевают, оскорблённые до глубины души. А те, выгнанные, и километра не отошли. Остановились, о чём-то долго спорили. Потом занялись перекладкой вьюков с одного оленя на другого, и только когда поднялась над тайгою Полярная звезда, заспешили в путь.

В какие дальние-дальние эпохи и откуда вёл этот свет предков и что значил он для них, если их потомки до сих пор чтут его путеводным? Сколько красоты в этом обычае, сколько неподдельной высокой красоты! И долгий, может быть, крайне тяжкий путь, освещённый далёким призывным светом, становится легче и обещает радость.

Ганалчи правит оленей на этот свет, и наш небольшой аргиш спешит точно на север.

Всё меняется в мироздании, неизменен только Хэглен – центр всего сущего, ось, на которой вращается Великий Круг жизни. Так говорит Ганалчи. Потому что так говорили предки. Он сохраняет их истины, добавляя к ним и свой опыт. И какими наивными, если не просто глупыми, кажутся мне сейчас наши самодовольные утверждения, что мы куда умнее наших предков и знаем куда больше, чем они…

Мысль моя пресекается. Ганалчи остановил оленей и зовёт меня. Схожу с нарты. Мы и впрямь поднялись в небо. Не заметил, когда сошли с реки, и аргиш двигался выше и выше белым распадком, пока не достиг водораздела. Тут Ганалчи остановил оленей. Стою какое-то мгновение, не в силах понять, что же это произошло. Где я? Старик улыбается, манит к себе. А я не могу и шага сделать. Сердце бьётся у самого горла. Хочется смеяться и плакать одновременно. И только потому, что вот она, Земля, на которой прожил уже немало, которую любил по-своему, но никогда не видел такою, какой вдруг предстала она сейчас. И даже не

Земля, а весь наш Мир и мироздание, в котором, наверное, есть не только место тем трём мифическим землям из верований эвенков, но и тысячам, миллионам им подобных, которые хранит всё ещё Время.

Мы стояли на гребне удивительного хребта, вознесённого над всем сущим. На четыре стороны открывался неограниченный простор, излучающий удивительное сияние. А над нами высоко и чисто, едва заметно, плыли звёзды, каждая из которых на языке Ганалчи имела своё название, одно из которых я уже знал – Хэглен. Полярная была в самом зените, и, чтобы видеть её, я закидывал голову, отчего начиналось лёгкое головокружение. Но оно не мешало видеть, а словно бы затягивало в это вечное движение, которое и определено у эвенков как Круг Жизни.

По этому кругу, присев на задние лапы и принюхиваясь к трубочке Волопаса, плыла Большая Медведица, хищно скользила Рысь, бежали куда-то Гончие Псы, извивался Дракон, устремляясь туда, где над горизонтом всходила Вега, а напротив неё, чуть только выше, в южной части неба светился Сириус – моя звезда, с которой связан я необъяснимыми притягательными силами; она, эта звезда, близка мне, и к ней одной испытываю я необычайную нежную и тревожную любовь.

По Звериному Кругу, о котором толковал мне при нашем отъезде из Хамакара Ганалчи, медленно шествовали в строгом порядке: Овен, Телец, Близнецы, Рак и Лев, высоко и ясно сияла вечная Кассиопея.

Далеко у наших ног извилисто, словно небесный Дракон, лежала под снегом Великая река, мягко обнимая чёрные леса с чуть голубоватыми в ночи блюдцами бесчисленных озёр, мягкими ковригами поднимались над нею сопки, а где-то далеко-далеко на севере, утопая за горизонтом, призрачно вставали вовсе не земные горы – Путораны.

– Тут вот, – сказал Ганалчи, – от реки до реки – восемнадцать километров. Там, – он показал на наш путь рекою, – сто двадцать километров. Это Холи. Я впервые услышал это название. По-русски оно звучало Холог, так было обозначено и на картах, так называли его все мои знакомые, рассказывая самые удивительные истории.

Я видел Холог, проплывая года три назад по реке. Целый день кружились. И этот громадный, мрачный лесистый хребет, приближаясь, то возникал прямо по курсу, то оказывался слева от нас, а то неожиданно выплывал справа, все грознее и суровее нависая над рекой. И было в этом бесконечном кружении что-то роковое и тайное. А на самой вершине курился едва различимый дымок. Старожилы утверждали, что Холог курится так уже многие десятилетия. Дым этот выходит из-под земли, а где, никто не знает.

И вот теперь мы с Ганалчи стоим рядом с этим курением. И я пристальнее оглядываю всё, что близко окружает меня. И вот всего лишь в каких-то десятках метров среди чёрных, словно обугленных, скал вижу, как что-то струится и дрожит едва различимо. Ганалчи, уловив мой взгляд, говорит:

– Холи дышит…

«Холи» по-эвенкийски – «мамонт».

Я прилетел в Хамакар на маленьком Як-12 с надеждой попасть в оленьи стада, кочующие по северной кромке тайги на границе с Великой тундрой. Мне повезло: в Хамакаре был Ганалчи, с которым познакомил меня секретарь райкома. Он был тем самым эвенком, спасшим нас с Олешей от верной смерти на Мертвом калтусе. Ганалчи сразу же узнал меня, заулыбался, протягивая руки, а я всё ещё силился припомнить, кто же это из моих знакомых так рад нашей встрече. И только когда Иван Константинович, хозяин дома, в котором мы и встретились, усадил за стол и потекла неторопливая беседа, я узнал старика, да и не узнать его было просто-напросто невозможно. В отличие от большинства эвенков он высок ростом, плечист и длинноног, спину держит прямо, определяя этим гордую, независимую осанку. Лицом необыкновенно добр, хотя черты его сурово и волево явлены. Этот тип в наших северных краях стал удивительно редок. А на первых фотографиях, сделанных в начале века и даже в тридцатых

годах, самый распространенный: резко обозначенные скулы, высокий лоб, хорошо выраженные дуги бровей, узкий, но длинный разрез глаз, тонкие волевые губы и над ними не приплюснутый, но хорошо определённый чуть с горбинкой нос.

Может быть, такое необычное лицо таёжного жителя определяла прическа – по-особому туго заплетённая косица, ни разу за всю жизнь не тронутые ножницами волосы. Ганалчи не носил косицы, брил голову, но лицо его такое, как на старых фотографиях.

Впервые разглядывая те снимки, я немало удивился, поскольку люди, изображённые на них, были знакомы по детскому увлечению индейцами. Это были независимые герои саванн и прерий, верные справедливым законам предков, гордые и бесстрашные. А тут они сидели на траве среди тайги, выпрямив крепкие спины, мягко подложив под себя ноги, обутые в лёгкую, сшитую из оленьих камусов обувь, с гордо поднятыми головами и с уважением и великим вниманием слушали бородатого русского.

Фотография запечатлела первый советский съезд – суглан, на который сошлись несколько издревле кочующих рядом родов. Среди них был и Ганалчи – старейшина рода Почогиров.

За столом у Ивана Константиновича мы разговорились. Ганалчи говорил неторопливо, мягко, иногда делая длинные паузы, подбирая нужное русское слово. Когда не находил, вопросительно обводил взглядом всех сидящих за столом. И кто-нибудь обязательно произносил такое слово. Но оно не всегда подходило. И тогда Ганалчи обращался ко мне, стараясь объяснить, что он хотел сказать. Я его понимал, и это ему нравилось. Когда он говорил, все почтительно молчали, стараясь и слова не проронить. Его не перебивали, но и он никогда не перебивал других.

Иван Константинович, как большинство нынешних жителей тайги, был неудержимо словоохотлив, в движениях скор, даже суетлив, а по мере того как выпивал, становился и криклив. Но стоило Ганалчи сказать что-либо, хозяин замолкал. Эту предупредительность окружающих я заметил сразу, и она нравилась мне. Нравилось и то, как вёл себя за столом Ганалчи. Ел он немного, не торопясь, пил мелкими аккуратными глотками, отставляя неопорожнённый стакан в сторону, во время всей трапезы молчал и к еде относился с уважением. Глядя на него, и остальные старались есть аккуратнее и вдумчивее.

Главный наш разговор начался во время чая, когда Ганалчи, прикрыв ладонью стакан, куда Иван Константинович собирался подлить спирта, что-то сказал по-эвенкийски.

Хозяйка подала чай в эмалированных кружках, Ганалчи долго обминал свою ладонями, ухватывая ноздрями пахучий парок, потом отпил чуть-чуть, сладко щурясь и чему-то улыбаясь.

Как начался разговор о звёздном небе, я не заметил. Помню только, Иван Константинович что-то втолковывал окружающим о том, как лень было голову поднять, потому и уехал не туда, куда надо. Вокруг смеялись, а он всё повторял, все хлопал себя по бёдрам ладонями, мотаясь из стороны в сторону, словно бы ища чего-то и зовя кого-то:

– Хэглен! Хэглен! Хэглен!

И тогда Ганалчи, наклонившись ко мне, объяснил:

– Хэглен – Звезда Севера…

– Полярная? – спросил я.

– Да-да, Полярная…

В тот вечер я узнал, что в громадном Круге Жизни совершает движение всё, что есть, что было и что будет. Круг этот вечен и никому не подвластен, и каждый, кто имеет глаза, от таёжной липучей мошки до холи – мамонта, видит его. Но не каждый понимает, что есть он, Круг Жизни.

– Ты понимаешь? – спросил я старика, впервые следуя древнему обычаю, где нет в обращении превосходных степеней.

И все за столом вмиг замолчали, а мне стало вовсе не по себе, до стеснительного стыдно.

– Да, – просто ответил Ганалчи.

И в этом ответе тоже не было ничего превосходного, выделяющего его. Долго, словно подыскивая нужное слово, щурился, наконец, ответил:

– Понимаю…

В тот вечер узнал я, что в Большом Круге Жизни есть Круг Зверей. В нём, следуя друг за другом, движутся двенадцать животных. И было это не что иное, как двенадцать созвездий зодиака. Вот это слово, слышанное мною с самого раннего детства, хранило всегда в себе какую-то запредельную тайну, какую-то невообразимую силу и значимость. Круг Зверей. Тогда я ещё не задумывался над смыслом слов. Не думал, что многие в своём первозданном виде из тысячелетий древности, от пращуров. Никто не объяснил мне вовремя значения слова зодиак, и я, прожив на земле немало, немало прочитав мудрых книг, так и считал, что слово это обозначает что-то вроде звёздного знака. И вот недавно, листая популярную книжку, вдруг нахожу, что «зодиак» по-гречески zodiakos – не что иное, как звериный круг. Тысячелетия и тысячелетия назад назвали его так древние греки, определив каждому созвездию образ животного. И Ганалчи называл его так же – Звериный Круг.

Холи остался позади, и мы снова скользили по широкому лону реки, всё дальше на север, где едва различимо сначала, а потом всё ярче и явственней заиграл нездешний свет помороков – отсветы северного сияния. Ещё одно чудо дарила мне удивительная ночь. Хотелось думать, что дарит Ганалчи. Может быть, так оно и было!

На ночлег далеко за полночь встали мы на ягельных местах подле Каменной реки. В крохотной зимовейке сухая истопля дров у печи, рублеными смолистыми плахами заложен весь передний угол. Но мне совестно брать дрова, и я, вынув из нарты топор, хлещу им сухостоины в реденькой подтаёжке. Ганалчи распряг оленей, навесил им на шеи чагои – колодки, что болтаются у ног, мешая идти. С такой амуницией олени далеко не уйдут. Ночь по-прежнему звёздная и светлая. Высоко стоят помороки, шевелясь по-живому, словно бы кто-то неописуемо громадный пожимает плечами и под лёгкой, светлой его одеждой ходят могучие лопатки. Я раскочегарил печку, навалив подле неё в ползимовейки дров, вспотел, но руки просят работы, кровь играет, и дышится, и живётся. Два котелка шипят и плюются на малиновой загнетке. Сухое смольё раскаляет печь, делая ее почти прозрачной. Ганалчи нарубил мяса, и я опустил его в один из котелков. В другом вскипячу чай. Сладко запахли меховые постели, отогреваясь после мороза, другие запахи возникли, ожило зимовье.

– Снег будет большой, – сказал Ганалчи.

Он любит так вот неожиданно сказать что-то и задуматься надолго, словно бы ожидая вопроса. Но я никогда не спешу с ним, соображая, к чему это сказано. Ночь по-прежнему ясная. Нет и намёка даже на крохотное облачко. И Север сияет, и звёзды чисты. И бежать нам до оленьих стад три перехода. Снег ни к чему.

– Куда больше снегу? – говорю я. – Сойдешь с тропы – и до пояса.

– Будет большой, – подтверждает старик. – Куда большой! Много. Пора.

И снова замолкает. Думает.

– Почему? – спрашиваю, но он молчит, гладит ладонью высокий лоб, стриженый затылок.

Как он похож на тех, из детства, мудрых и бесстрашных индейцев! Тёмное от солнца, ветров и стужи лицо не воинственное, в чем-то даже очень беззащитное и по-детски доверчивое. Мне до отчаянной боли в груди жалко старика, хочется подойти и вот так же, как это делает он сам, погладить по голове, сказать какие-то нежные слова…

Так делал я крайне редко, определив в отце своём растерянную незащищённость, приносившую мне и боль и жалость. Я касался его мягких, тогда уже редких волос рукой, потом смущённо хлопал по плечу: «Ничего, ещё поживем, батя…» И всегда в глазах отца, голубых от природы, а к старости ставших голубее голубых, возникали вдруг крупные слезинки. И он,

смущаясь, что-то ворчал под моей здоровой рукой. Я гладил его, когда не было уже глаз, прикрыли их холодные веки…

– Белка запас себе высоко делает. С осени гриб, ягоду высоко сушит. Во куда повесит, – Ганалчи на уровне груди поставил растопыренную ладонь. – Значит, сугроб высоко ляжет. Ходил, глядел – шибко высоко припас. Белка знает. А когда снегу-то пойти? Как раз и пойдёт. Пора. Слышишь, кричит в тайге? К ветру. А ветра без снега нету…

Как я ни прислушивался, ничего в тайге не услышал. Только потрескивали, взвизгивали и кричали дрова в печи.

Но снега пришли, как и сказал старик.

Долго не мог заснуть. А Ганалчи заснул сразу же, и не слышно стало его, даже дыхания не слышно. Живой ли? Живой. Но спит тихо-тихо…

Я вышел из зимовья. Всё ещё была ночь. Мороз усилился. Чистота до самых звёзд. Кассиопея по-прежнему светится ярко. Затихли, растаяли помороки. Медведица определена до каждой звёздочки. Медленно и валко идёт себе в вечность.

А я иду по снегам, и от моих мягких шагов (обут в лёгкие меховые унтайки) рождается эхо в тайге. И дробится и колется. Хрустнула ветка под шагом – вскрикнула на всё мироздание, и даже Медведица вздрогнула.

Вот это и есть тишина…

Глава IV

– Природа не терпит пустоты, – сказал Кеша и выволок из воды здоровенного хариуса.

Мы сидим подле талиц на самой середине речки Вювю. Опускаем лески, их подхватывает быстрое течение, несёт вдоль ледяной кромки, чуточку потянешь на себя – на крючке рыбина. Второй пилот сидит поодаль над лункой, которую только-только соорудил, но и у него пошла рыбалка.

– Так вот, – продолжает Кеша, – как только пошатнулось у нас оленеводство, поуменили домашние стада, тут же на их место пришли дикие.

– Почему пошатнулось? – спрашиваю.

– Не туда идём, – то ли шутит, то ли серьёзно отвечает. – Дедушка мой говорил: иди всегда не туда, куда хочется, а куда надо. Мы идём, куда начальству хочется. И нас к этому приучили. Шибко хочется идти к коммунизму. Вот и получается – не куда надо, а куда хочется… – Я такого не ожидал услышать от Кеши, он человек далёкий от всяких политик. Засмеялся. – Ишь ты, и меня не туда потянуло. Спрашиваешь, почему оленеводство пошатнулось? Причин много. А главное, нет оленеводов. Старики поумирали. Молодые… Сам видел… Им не за стадом хочется идти, а прямиком, в коммунизм… Причин много… А вот оленьих хозяйств в тайге мало. Разбежались домашние олешки. Но природа не терпит пустоты. В наших краях теперь бродят три диких стада. Одно своё – местное. И два мигрируют из тундр. Вот мы на них и выходим.

Когда-то Ганалчи рассказывал мне, что пуще всякого зверя, пуще волков и пуще болезней боялись эвенки-оленеводы диких оленьих стад. Каждый оленевод хорошо знал пути их миграций, угоняя подальше домашних. Но случилось, что человек что-то недоучитывал или что-то необъяснимое происходило в природе. И тогда стада встречались. Дикие шли сплошным валом, подчиняясь инстинкту рода и мудрым вожакам. Они, как вода, захватывали домашнее стадо, забирали его, уводя с собою. Шли мимо жилищ оленеводов, обтекая их, не обращая внимания ни на людей, ни на стрельбу по ним, ни на собак. Как рок, проходило стадо, оставляя эвенка нищим. Ни один домашний олень уже не возвращался в стойбище.

Дикие нынешние стада трудно представить, воочию не увидев, – так они многочисленны.

Кеша каждую осень вылетает навстречу стадам, когда те мигрируют в таёжные веси. Нынче за неполную неделю втроём они отстреляли двести сорок штук.

– Отнимались руки, столько шкур приходилось обснимать. А в другой бригаде один охотник пальцы обморозил. Видимое ли дело – обморозить руки при такой работе! У них добыча далеко за три сотни перевалила – тоже дней за пять.

План по сдаче мяса район перевыполнил. И поголовье домашних оленей удалось сохранить, во всяком случае, потери за год не такие уж большие, как обычно. Дикарей теперь бьют ежегодно. Поговаривают о том, что надо бы отстрел поставить на научную основу. Определить максимум добычи, сохраняя стада для воспроизводства. Но это пока только разговоры. А план вот он – реальные тонны мяса. В районе пытаются получить разрешение на отстрел оленей с вертолёта, подсчитав экономическую выгоду. Но пока навстречу мигрирующим стадам выкидывают бригады из трёх – пяти охотников. Теперь олени идут не тысячами, как шли раньше, а группами по пятьдесят, сто животных, редко – до двухсот. Каждую группу ведёт один или несколько вожаков.

…Стадо искали долго. Долетали до самых тундр. Шли по азимуту на бреющем полёте, внимательно приглядываясь к распадкам, руслам рек и падинам. Безлесые сопки и водоразделы хорошо проглядывались невооружённым глазом, но Кеша и по ним шарил цейсовским биноклем. Стада не было. Но он хорошо знал, что месяц назад оно перевалило далеко на Край-

нем Севере, еще за Полярным кругом, Великую реку и, по расчётам, должно было войти в лесотундру.

Кеша был до тонкостей информирован, как встретили на Великой реке дикие стада соседи. Били на плаву с самоходок, заложив животных с трёх сторон. Оленей у реки собралось, не в пример прошлым годам, множество. Настоящая бойня была. Вода пенилась от крови. А олени все шли и шли, и люди устали их убивать.

«Попугали здорово, – думал Кеша, шаря биноклем по зимней земле. – Вот и запаздывают».

Три дня утюжили севера, наконец, наткнулись. Кеша попросил пилота подняться как можно выше. И тот, набирая высоту, кружил над громадным пространством, открывая Кеше всё новые и новые дали. «До самого Ледовитого видно», – пошутил.

Земля внизу расстилалась на сотни километров. Был ясный, какой-то особенно прозрачный день. Ослепительно белели переновы – только что выпавшие снега. И на них крохотными точечками пестрели животные. Стадо, разбившись на группы, вытянулось по всему простору. Терялось на севере за горизонтом, а на юге входило уже в Кандигирскую низменность, растекаясь по хребтикам и сопкам. Шли олени в строго выверенном направлении – на юг.

Кеша решил встретить стадо за Каменными воротами. Тут мощный скалистый хребет перегораживал Кандигирскую низменность, оставляя единственный выход к вольным ягельным пастбищам. Стадо вынуждено будет идти верховьями реки Иогдо.

– Все ясно, – сказал Кеша пилоту. – Выбросишь нас вот тут. – И отметил точку на карте.

Указанное место как нельзя лучше подходило для посадки вертолёта. Тут Иогдо, вырываясь из горного кряжа, впервые обретала свободу, растекалась широко и вольно. На одну из каменных россыпей и приземлился вертолёт.

Выгрузились быстро.

– Ну, ни рогов, ни копыт, – сказал командир.

Кеша сплюнул:

– Иди ты!

– Кеш, я страсть как оленьи языки люблю, – сказал техник Борис. – И губы тоже…

Кеша обнял Бориса.

– Сколь раз говорил, не трепли языком, Боря.

И вертолёт улетел.

Недалеко от россыпи поставили палатку. Обосновались без спешки. Торопиться некуда. Кеша подсчитал, что олени придут сюда только завтра к вечеру. А день был всё ещё на подъёме, солнце катилось по прямой, а уставшие от безделья и вертолетного гула люди теперь отдыхали в привычной работе. Пилили и кололи дрова, обустраивали быт, готовили пищу. Уютно гудела в палатке печка, которой Кеша особо гордился, – выписал по доставке «Товары – почтой» опытный образец. Как все опытные образцы, печка сделана добротно, требовала мало дров и давала хорошее тепло. Он её сам и установил, сам затопил и посидел немного, любуясь, как ровным малиновым светом наполняется поддувало.

Все было нынче по душе – и ясный день, и удачная посадка, и место их табора, и обед, который стремительно сготовили его помощники – Никита с Валей, и сами они, немногословные, ловкие и уважительные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.